

Брата Никиты звали Андрей, и он три дня назад умер. Андреем, или Андреем Владимировичем, его называли только на работе, да и то немногие. Андрейчик, Эндрю, Дронвладимыч – имя коверкали на все лады. Наверное, потому что он был слишком живым. А еще полноватым, мягким, улыбчивым. Не человек, а плюшевый заяц. При этом немногословный и внимательный. С ясным взглядом, с маленькими, быстрыми и сильными руками хирурга.

Никита почувствовал, что его знобит. Этого еще не хватало. И ему заболеть, и ему свалиться?! Хватит с тебя и брата, но у него были диабет и дрянные сосуды. А у тебя чего? Сбит грубо и прочно, рост под два метра, ноги, грудная клетка, похож на немаленький платяной шкаф.

Но знобило. Вылезать из машины не хотелось. Продукты. Продукты. Продукты. Вывеска над грязной пластиковой дверью нервно вздрагивала – мигала. Но когда вспыхивала в полную яркость, сквозь мокрое от дождя стекло расплывалась красиво. Или не озноб это? «Три дня курю как не в себя, блок сигарет высадил. Вот зачем?»

Выключил зажигание, стало очень тихо, только под днищем автомобиля что-то натянутое, металлическое изредка стучало. Что это, рессора? Вот в нем бы струна какая-нибудь не лопнула. Он не железный. Самые крепкие первыми валятся. Не берегут себя, думают, что бессмертные.

«Что это за мысли еще? Страх? Мне-то чего? Это у старшего осталось две дочери, Стефа и Рина... Вот ему, обороту, беречься нужно было. А мне что? Одиночке и волку

голодному. Вот, кстати... Со вчера не ел, надо пожрать чего-нибудь. Что там у матери есть? Купить чего? Круглосуточный за углом. Позвонить ей? Не хочу звонить».

Никита открыл дверь своей «бэхи», но вдруг увидел подошвы ботинок. Ярко-желтая глина, прилипчивая, как замазка, – с кладбища. Смотрел и несколько секунд не двигался. Надо бы помыть самому, да вот хоть в ближайшей луже, а то мать увидит и чистить бросится.

Дождь закончился, сумерки сгустились до плотной синевы. Прошел мимо магазина, вывеска пульсировала, сбрасывая свет на асфальт. Продукты. Продукты. Продукты. Когда проходил совсем близко, в витрине заметил нарисованный от руки плакатик: «Бесплатные продукты для малоимущих! Берите! Корона не пройдет!»

Берите. Берите продукты. Вермишель, рис, пшено, манку, печень трески, бычка в томате. И брата моего берите, берите, не жалко. У меня братьев миллион, камазами, мешками, ящиками. Берите брата. Мать еще родит. Корона не пройдет, чего ей проходить, она уже пришла всюду, куда ей надо было...

В подъезде пахло сыростью, и затхлым тянуло из мусоропровода.

Вышел из лифта и, взглянув на дверь матери, замер. Старая, обитая черным дерматином дверь. По контуру и по диагонали между гвоздиками с крупными выпуклыми шляпками натянута потемневшая латунная проволока, кое-где порвана, дерматин отошел, поролон под ним разбух. Сейчас и материалов таких нет уже, наверное. Дерматин... Отец его называл «дерьмонтин». Никита все детство думал, что так правильно. Почему сейчас двери из металла? А раньше вот такие. Раньше для тепла делали. А сейчас что, тепло не нужно?

На стене на деревянном ромбике черный цилиндр звонка. Проводок от него, белый, двойной, весь в паути-

не, испачканный старой, отличной от стен краской, уползает вверх по стене к черному жуку дырки. На цилиндре белый покатый пупырышек кнопки, гладкий, легкий. Соловьиная трель. Убираешь палец – щелчок.

Вдруг ясная мысль, что все это – истертый пупырчатый коврик, крашенный зеленый коридор, беленый потолок, дверь, обивка, звонок, проводок в паутине – отпечатано в голове детально, как выжжено, и именно под таким ракурсом, с этим запахом, в этом освещении от мутного окна в конце коридора. И все это никогда никуда из тебя не денется до конца дней твоих.

Никита тяжело мотнул головой, озноб хлынул в затылок. Потрогал лоб. Может, не ходить к матери? Так карантин кончился. А что карантин? Да перестань. Все переболеем. А на похоронах сколько раз общались. Один сын умер, второй не будет приходить к одинокой матери? Так она быстрее... Но неужели заболел? Он же никогда не болеет.

Достал маску, вытряхнул из нее табачные крошки, нацепил на нос – пахнуло прелой синтетикой. Прислушался – за дверью громко бубнит телевизор. Позвонил.

Мама распахнула дверь, но обниматься не бросилась. Утром виделись.

– Никитка, Никитка! Смотри, что! Что принесли мне! Смотри! Ну-ка разувайся, проходи скорее! Скорее давай! – Она держала в руках широкий конверт и не говорила, а кричала непривычно высоким голосом, он даже испугался.

– Как ты, мам? Нормально все?

– Туда, туда обувь! Не сюда! – Нагнулась, схватила его ботинки и поставила обратно к двери, выпрямилась. Посмотрели друг на друга. Никита сделал шаг, приобнял, но наклоняться к щеке не стал, поцеловал в растрепанную седую макушку.

– Проходи! Темно тут! Лампочку вторую надо вкрутить... потом... – И она ринулась в кухню.

– Так чего принесли-то, мам? – крикнул вслед.

Сухонькая, юркая, подвижная. Чистенькая, вкусно пахнущая мылом и супом. Мама. Живая. Любимая. Теперь она у него одна.

Провел рукой по волосам, сбросив капли дождя, прошел на кухню, светлую, в небесного цвета плитке.

– Вот! Ну-ка смотри! Ничего себе, да? – И мать протянула конверт с прозрачным окошечком. Никита смотрел, но не на конверт, а на руку мамы – морщинистая, как кора древесная, в бурых пятнах... ее било крупной дрожью.

Он поднял глаза на мать – ее взгляд торжествовал.

– Ну! Вот и смотри! Ну-ка! Открывай! – В голосе и восторг, и надрыв.

– Что там? – Никита с опаской начал открывать.

– То там! – Мать ударила по руке сверху, неожиданно вырвала конверт. – Да что ты, ей-богу, как вареный! Что с тобой? – блеснула на него огромными глазами. – Не спамши? Выпил?

– Мам, мы сегодня вообще-то... – Он хотел сказать «хоронили брата», но осекся. – Какой выпил... Мам, ты вообще... как?

– Ну-ка! – Мать пыталась открыть конверт, но он не давался, она дергала, царапала, надеясь подцепить слипшийся шов и не повредить содержимое... – Ну! Вот. Тут. Прислали из администрации-то! Сей... сейчас!

Никита, заполнив собой всю кухню, смотрел на маленькую маму сверху, ее руки ходили ходуном, плечи вздрагивали, голова тряслась... Что с ней? Утром на похоронах она хорошо держалась.

– Вот! Читай! – Она выдернула из конверта и пихнула ему письмо – и тут же отдернула руку. – Или... Ну-ка! Очки! Очки не видел? Я сама сейчас... Сама!

Она метнулась искать очки и вдруг замерла. Стояла, чуть наклонив голову, смотрела на письмо, но развернуть как будто боялась. Никита увидел, что глаза матери наполнились слезами, побежавшими по неровным морщинистым щекам, руки задрожали сильнее. Вдруг он услышал тонкий протяжный писк, и мама начала уходить вниз, как будто под ней проваливался пол. Он подхватил, сгреб ее, прижал к груди, поднял и понес, как носят большие вазы, в комнату, не замечая, как ее крик шилом вонзается ему в ухо. В комнате посадил на диван. Мама откинулась и затихла. Но быстро взяла себя в руки.

Никита принес влажное полотенце.

– Прости. Прости безобразную старуху, – сказала, глядя в потолок, пристраивая полотенце на лбу.

Никита сел рядом:

– Мам... Ну что ты говоришь?

– Жалкую старую кошелку... которая, видите ли, не наревелась. Гадкая старуха. С недержанием воды. Фу! Прости, сын... прости меня... – Она положила ему руку на спину, он почувствовал тепло на влажной рубашке.

– Ты сырой весь...

– Да в машине жарко.

– Нельзя плакать, – заговорила мать строго, – раньше в деревнях запрещали рыдать и убиваться... Мол, покойника в слезах топить – на том свете мешать ему дела свои делать... Грех это. И ты не плачь. И не пей.

– Да я вообще-то... – Никита усмехнулся, покосился на мать, увидел, как ее покрасневшие глаза вновь стали влажными.

– Прочти лучше. Ну-ка достань и прочти. Где письмо-то? – К ней вернулись командные нотки. – И еще я на видик записала. Давай посмотрим...

Никита удивился. В глубине комнаты стоял телевизор, под которым помигивал зеленым индикатором загадоч-

ный плоский черный агрегат – старый видеомаягнитофон. Рядом с кроватью на стуле лежал пульт, завернутый в полиэтилен и проклеенный скотчем еще отцом.

– Записала? Ну ничего себе!

– А ты думал. Одна живу, все умею.

Он поднял с пола мятое мокрое письмо. Мать положила ладонь ему на плечо, погладила, сжала. Никита повернулся, и они встретились взглядами. Это длилось всего несколько секунд, прямой взгляд, глаза в глаза. Впервые за много дней заглянули друг в друга мать и сын. Одни, теперь совсем одни.

– И их осталось двое... – не сдержался, усмехнулся Никита.

Мать кивнула на письмо, и он все-таки прочитал текст между огромным гербом сверху слева и размашистой подписью и печатью снизу справа.

«Уважаемая Полина Георгиевна! От лица губернатора...»

Он прочитал письмо дважды, про себя и вслух, для матери. Затем они посмотрели запись, это был выпуск новостей местной телекомпании. Фальшиво траурная серьезность ведущей, делано драматичные интонации корреспондентов, на весь экран портрет улыбающегося Андрея с отсеченной черной полоской рукой. Архивные кадры его в кабинете, в операционной, с губернатором с красной ленточкой в руках на открытии нового корпуса. Интервью министра здравоохранения с соболезнаваниями и в финале – плавный уход в черное под реквием, тут же грубо оборванный.

Мама улыбнулась, впервые за три дня. Пошли на кухню. Сделала бутерброды. Соленая красная рыбка на хлебе с маслом да с горячим сладким чаем, как он любил, и мама это помнила. Ел, хлеб царапал суховатое горло,

пил, горячий чай обжигал гортань, только когда почти все дожевал, начал чувствовать вкус.

– ...Ты когда родился, у тебя шейка короткая была, плечики узкие, а головка большая... Так я тебя сразу назвала «мой бычок», правда-правда! – смеялась мама тихо, осторожно, моргая красными от слез глазами. – Да-да! Ну-ка, не обижаться мне тут! Еще чего!

Никита и не думал обижаться.

– А Андрюша наш... Он родился совсем другим, конечно... Вот! Не плакать надо, а вспоминать его! Каким он был! Мы вспоминаем, они вспоминают, – она кивнула на телевизор. – И правильно! Потому что Андрей когда родился – сразу как будто с улыбочкой, тихонький, спокойный, не кричал, не плакал... Акушерка подумала, может, не так чего, а он молчаливый уже тогда был! Да-да! И ласковый! Да ты помнишь... И вечно рядом... Ты убежишь, только выйдем – раз, и усвистел уже куда-то, и не видеть тебя, лишь бы под машину не угодил! А Андрюша мой у ноги, вцепится в платье, смотрит вокруг, глазками хлопает и улыбается... У-у-у! Ну-ка, попробуй его отдери и заставь бегать! Ни за что не пойдет!

Никита поймал себя на том, что сидит и улыбается во весь рот. Тут же опустил глаза, вспомнил утро, массивный гроб, жесткое дерево под тонкой обивкой, скользкую грязь у могилы, налитое горестным свинцом, разбухшее тело брата, в гробу ставшее тяжелее в два раза. Спасибо, что дали донести. После чего похоронщики отогнали за пять метров родственников и гроб открыли. Залив все вокруг белой едко пахучей дрянью.

Землисто-зеленоватого цвета руки, сиреневого отлива обычно розовое милое Андрюхино лицо, налитые багровым свинцом уши. Между гробом и табуреткой застрял длинный хвост упаковочной пленки, сверкал на солнце, хлопал на ветру. Зачем-то запомнил.

– И кто бы мог подумать, кем он станет! А? Сам посуди! А... – Мать всхлипнула, но сдержалась. – Хотя откуда нам знать про его работу... Да хотя бы понимать, что такое быть завотделением травмы! В главной больнице области. Это какая ответственность! А сколько людей, сотрудников... При его-то здоровье. Сколько в нем энергии было! Сил! И все равно постоя-ка с его диабетом у операционного стола по восемь часов... несколько смен подряд... А ты как думал?

Мать произносила подобные речи регулярно, почти при каждой встрече. Говорила страстно, с нажимом, будто упрекая весь остальной мир в том, как ее старшенькому тяжело, а ведь он такой замечательный и уникальный. Странно, «митинги» матери об Андрюхе, известном враче, хирурге от Бога, почетном гражданине города, теперь не обижали младшенького – простого бизнесмена Никиту, как это нередко случалось раньше.

Мать аккуратно забрала из рук сына письмо, расправила его на коленке, чтобы ворс халата впитал влагу.

– Поэтому ты уж извини, мне приятно, когда про него так... – в ее голосе звучал как будто вызов. – И пишут, и по телевизору говорят. И от губернатора прислали, и из мэрии пришла телеграмма, и от главврача его... Я все собираю. А от губернатора самое душевное, хорошо так написано... И по телевизору говорят, что врач от Бога, кандидат наук, решительный, профессиональный, да что там, лучший хирург региона, спасший не одну и не две жизни... Преданный делу любимый коллега, а еще семьянин, отец... Как таким не гордиться? Вот ты спроси меня, зачем жила? Или вот спросят... Завтра корреспонденты хотят приехать, звонили... Не зря жила я... И строгая с вами была... И он семь лет в меде не вылезал из учебников, интернатура, ординатура, вечно в анатомичке. Потом десять лет на скорой. Анестезиологом в Костроме. А близняшек после



жуткого ДТП помнишь историю? Фургончик, крохотный автобус и грузовик с песком в лобовую... Так в операционной только Андрея и ждали. И он примчался, собирал их сутки по кусочкам, спас... Зачем жила? Да, может, и отрада у меня, и утешение только вот... дело его... дело жизни его... И он – мое дело жизни. Поэтому когда письма, когда и Путин, и этот, как его, Мишустин выступают сейчас и говорят прямым текстом, что врачи – герои, я плачу... уж извини... я не могу сдержаться... Ведь Андрюша это заслужил, память о себе, славу... Героем он был, героем, и погиб на самой настоящей войне. Что тут говорить-то...

Мать замолчала, прикрыла ладонью рот. Никита вздрогнул, поднял голову, посмотрел на нее – глаза мокрые, восторженные, с сумасшедшинкой, сразу и не поймешь, то ли убита горем, то ли счастлива. Было немного стыдно, что чуть не уснул под пламенную речь родной матери о родном брате. Она ведь не просто сына вспоминает, а пытается принять его смерть, подтвердить для себя в который раз, что не зря умер, не просто так... Герой. Его брат герой. А он чуть не уснул, бессовестный. Но он три дня не спал, ни на полчаса глаза не сомкнул, все сам, а похороны и сил, и нервов, и денег сколько вытянули... Да о чем думает... Господи!

Никита встал.

– ...И теперь два миллиона семьсот тысяч, ведь это огромные деньги, – продолжала мама. – Представь-ка себе, я волнуюсь... Страна у нас бедная, а тут семьям погибших докторов такие деньжищи раздают! Всем! Ведь это можно квартиру купить, пусть и вторичку, или жить безбедно девочкам целый год... И все равно неловко... Но жить-то им как-то надо... Дашка одна осталась совсем...

– Ну это уже их дело, мам... разберутся, – сказал, качнувшись, Никита и затараторил: – Мамуль, прости, давай решим, домой поеду или останусь, постерегу тебя?

Он постучал пальцами по столу, улыбнулся. Мать вско-чила, порывисто обняла, прижалась. Никита предлагал остаться из простой вежливости, ночевать сына мать не оставляла почти никогда. Молодой мужчина, привык жить в одиночестве, нужно свое пространство, помыться, покурить, выпить рюмку, посмотреть телек, а у нее быт скромный, старушечий, да и сон беспокойный, поэ-тому нет, нет, езжай, сыночек, к себе...

Обещала не плакать. Обещал приехать утром. Обнял мать покрепче. Постояли.

Вышел из подъезда в ночь на мокрую улицу. Пахло травами и цветами до неприличия. Желтый фонарь в плотной ауре влаги пристально смотрел на одинокого человека.

«Бэха» резво выскочила на шоссе, набрала скорость, и огни растянулись длинными нитями. Сон рубил как хмель, не хватало еще заснуть за рулем и улететь вон с моста, он высокий. Два трупа за неделю маманя точно не сдюжит. Совсем рехнется. Никита усмехнулся собственной злости. Откуда такой цинизм? Устал, устал, это просто усталость.

Глянул в зеркало заднего вида, глаза – черные дыры в синих провалах. Доехать, выпить и спать. Вискарь дома есть? Вроде в баре одна оставалась.

Позвонить Лесе или уже завтра? Она просила, набери, расскажи, как мать. Терпеть не мог куриную эту заботливость, как будто ей дело есть до его матери. Лесе завтра. А сейчас бы с Юлей поговорить... С ней? Зачем? Что ты хочешь узнать в день похорон брата у главного юриста своей компании?

– Чего-чего! А кое-чего! – произнес громко, с издевкой, и засмеялся. – Ишь ты, расчегокался!

Ткнул ногой в педаль тормоза, колеса завизжали, машину по сырой дороге повело, раздался истеричный

сигнал ехавшего сзади, звук тут же изменился, растянулся, но Никита в сторону своей жертвы даже не посмотрел.

Вырулил к обочине, остановился, заглушил мотор. Лег на руль и, собрав лоб в мелкие складки, посмотрел вверх, откуда падал бело-голубой свет, заливая машину, делая ее сверкающим экспонатом на выставочном подиуме.

Вышел. Над головой висел гигантский билборд, на котором красовалась свежая социальная реклама о борьбе с COVID-19. Крупный, похожий на жука чиновник в черном костюме и четыре врача – благообразный мужчина и за ним одинаково улыбающиеся молодые женщины. В глубине, за группой, грозный космический аппарат ИВЛ с экранчиками и трубками. Надпись над всей композицией гласила: «Спасибо вам! Вы – настоящие герои!» И внизу подпись губернатора.

Никита стоял, смотрел, раскачиваясь из стороны в сторону. Поедет мимо патруль, увидят, подумают – пьяный. Но он не смотрел на дорогу. Чиновник, врачи. Смотрят на него сверху пристально, осуждающе. Да нет, даже злобно. Уставились. Оскаленными улыбками.

Никита наклонился, высматривая что-то под ногами, глаза от яркого света в темноте поначалу не видели, но быстро привыкли, и – ага, вот бордюры и вот, отлично... Он по-звериному нырнул, схватил что-то, замахнулся, чуть не завалившись назад, и со всей силы швырнул – вверх, в широкий экран билборда.

– Дронвладимыч не был героем! Он ни капли не был героем! – Никита кричал, и голос его звенел, срываясь. – Андрюха вообще был трус! Трусишка! Трухан!.. Зато он был хорошим братом, мужем, сыном и... отличным доктором! Он умел людей с того света доставать! А теперь сдох! Сдох и лежит под глиной! Он не был героем! Не надо врать! Врать не надо!

Брошенный камень попал в цель – угодил чиновнику прямо в холеную улыбку, в огромный на фотографии клык, и отскочил, даже следа не оставив.

Через секунду Никита как будто очнулся от морока, ему стало стыдно за свою выходку. Он зачем-то пригнулся, потрусил к машине, нырнул в дверь и рванул сначала, но потом поехал тихо, в третьем ряду.

Мысль звонить юристу Юле с вопросом, могут ли они отказаться от государственной помощи в виде 2,7 миллиона, которые хотят заплатить за смерть брата, чтобы Никита отдал семье Андрея из своих денег, – эта мысль казалась ему теперь абсурдной и недостойной.